



**М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН**

*Детиз*  
*1957*





**БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНИКА**



**М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН**



**С К А З К И**



РИСУНКИ Н. МУРАТОВА



*Государственное Издательство  
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Министерства Просвещения РСФСР  
ЛЕНИНГРАД 1957*



***Вступительная статья  
и примечания Б. Бухштаба***

**ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!**

*Присылайте нам ваши отзывы о прочитанных вами книгах и пожелания об их содержании и оформлении.*

*Укажите свой точный адрес и возраст.  
Пишите по адресу: Ленинград, наб. Кутузова, 6. Дом детской книги Детгиза.*



## СКАЗКИ ЩЕДРИНА

Когда впервые читаешь сказки Щедрина, они могут показаться какими-то странными, мудреными, уж очень замысловатыми. Идет, скажем, речь о жизни пискаря. Весьма точно описываются беды, которые того и гляди настигнут эту маленькую рыбку:

«Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить... А человек? — что это за ехидное создание такое! Каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И неводá, и сети, и вёрши, и норотá, и, наконец... уду!»

Но о том же пискаре дальше сказано, будто он видит во сне, что выиграл двести тысяч рублей. Ночует пискарь «то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке», а поднимается со дна, «так как пить-есть всё-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит». Не правда ли, как тут странно спутана жизнь рыбы с жизнью человека?

Вот медведь. «Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок — так и впились, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако всё-таки кой-как отбоярился: штук с десятков шавок перекалечил, а от остальных утёк».

Как будто настоящий медведь. Но на следующей странице мы читаем, что дети этого медведя в гимназии учатся.

Или вот верный Трезор. Сторожит он дом московского купца Воротилова. Воры напрасно стремятся проникнуть в дом. Они пытаются подкупить Трезора. Чем же они хотят его соблазнить? «Сколько раз и воры сговаривались: поднесемте Трезорке альбом с видами Замоскворечья; но он и на это не польстился». Нашли чем пса заинтересовать!

Но в том-то и дело, что пес в сказке Щедрина — это не просто пес. Это и пес, и человек в обличье пса. Щедрин показывает нам людей под видом животных. Время от времени он как бы приподнимает звериные маски, и мы видим, чьи лица таятся под ними.

Животное здесь — иносказательный образ человека.

Никто не удивляется, встречая в сказке то, чего в жизни



не бывает и быть не может. Всякий знает, что в сказках обычные чудесные приключения, волшебные превращения, — словом, всё то, что называется фантастикой.

Но в сказках Щедрина фантастика странная, необычная. Она поражает тем, что чередуется с точным описанием реальных людских отношений определенной эпохи.

Возьмем сказку «Дикий помещик». В ней описаны отношения помещика и крестьян после отмены крепостного права. Крестьян «освободили» так, что ни лесу, ни водопоя, ни выгона — ничего им не дали; всё осталось за помещиком. «И земля, и вода, и воздух — всё его стало!» А помещик, пользуясь этим, штрафует крестьян да грабит — по закону, «по правилу». Совсем не стало жизни мужикам. И вот в один прекрасный день поднялся вихрь, пронеслась как бы черная туча — и все крестьяне из владений помещика исчезли. Остался помещик один, некому стало его кормить и обслуживать. Он одичал, оброс шерстью, стал ходить на четвереньках и вести жизнь лесного зверя.

Тут, в сущности, не фантастика, а иносказание. Щедрин хочет сказать, что крестьян при «освобождении» так ограбили, что они не могут существовать. А от обнищания и вымирания крестьян страдают и сами «господа», которые нерасчетливо довели их до разорения и гибели.

Сказки Щедрина иносказательны, — и сатирик хочет, чтобы читатель это понимал. Для того и рассказ свой писатель ведет по-особому. Начнет, как заправский сказочник, да вдруг и огоршит таким словом, какого ни от одного сказочника никогда не услышишь.

«Жил-был пискарь. И отец, и мать у него были умные; по-маленьку да полегоньку аридовы веки в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну то же наказали. «Смотри, сынок, — говорил старый пискарь, умирая; — коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

После такого слова, как «жуировать», читатель уже понимает, что тут простачком-сказочником прикинулся едкий сатирик, чтобы под видом сказки говорить о делах совсем не сказочных.

Сам Щедрин свою манеру писать называл «езоповым языком», по имени древнего баснописца Эзопа. Этим названием Щедрин подчеркивал иносказательность своей сатиры, сближая ее с басней; басня ведь всегда иносказательна. Но Щедрин подчеркивал еще и то, что его иносказание **вынужденное**, что ему не дают прямо высказывать свои мысли и чувства. Эзоп ведь, по преданию, был рабом и принужден был говорить обиняками, чтобы прямою речью не разгневать своего господина. Недаром Щедрин называл свой стиль также «рабьей ма-



герой», намекая на тяжелую зависимость писателя от царской цензуры.

С цензурой Щедрин вел упорную борьбу, добиваясь печатания своих произведений. «Езопов язык» в этой борьбе являлся сильнейшим оружием Щедрина.

Убедимся в этом на примере.

В сказке «Медведь на воеводстве» царь-лев, по рекомендации своего главного советника осла, посылает в лес бравых медведей, чтобы они умирняли мелкое зверье, «лесных мужиков», посредством «злодейств» и «кровопролитиев». Но лесной народ этих наезжих медведей либо в грош не ставит, либо убивает. «Мало напакостишь — поднимут на смех; много напакостишь — на рогатину поднимут».

Писать что-нибудь подобное прямо о царе и его министрах, о крестьянских восстаниях и «усмирениях» было бы бесполезно: цензура не допустила бы написанного до печати. А то, что писалось «езоповым языком», — конечно, задерживалось, урезывалось, искажалось, но в конце концов, в том или ином виде, обычно все же печаталось.

Однако «езопов язык» не только оборонял от цензуры, он придавал особую силу и меткость насмешке Щедрина.

Мы видели, как Щедрин царского советника изобразил в виде осла, а «воеводу» — в виде медведя. Этим он дал яркую оценку уму царских министров и такту «усмирителей».

Когда Щедрин хочет представить отношения начальников и народа в царской России, он изображает волков и зайцев или щук и мелкую рыбу. Волки едят зайцев, щуки едят карасей и пискарей; тем самым Щедрин показывает начальников злыми хищниками, безжалостными губителями народа.

Царь Александр III, в правление которого написаны основные сказки Щедрина, был малограмотен, резолюции на докладах своих министров он писал с ошибками. Щедрин жестоко издевается над незадачливым царем: «Хотя Осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственноручно на Ословом докладе сбоку нацарапал: «не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который мало любимова Чижика сиел!»

О царях полагалось говорить особым, «возвышенным» языком. Нельзя было просто сказать, что царь что-нибудь написал, а надо было сказать: «собственноручно начертал». Это выражение Щедрин и пародирует своим «собственноручно нацарапал», чтобы читателю было ясно, что здесь имеется в виду.

Форма сказки вообще удобна для сатирика. Сатирик изображает жизнь не во всех ее проявлениях, подробностях и



связях; он берет наиболее яркие черты действительности, сгущает их, показывает нам как бы под увеличительным стеклом. Для такого показа сказка дает большие возможности. В сказке каждое лицо сведено к немногим главным чертам, к основной своей сути. Представить человека в виде волка, лисы, щуки, осла, зайца — это значит выделить и подчеркнуть в нем жестокость, коварство, жадность, глупость или робость.

Вот перед нами сказка о двух генералах и мужике. Щедрин показывает в ней неумелость и никчемность господ, сметливость и дельность народа.

Для того, чтобы ярче изобразить то и другое, Щедрин переносит двух генералов и «мужика» на необитаемый остров. Остров этот богат и рыбой, и птицей, и плодами, но бездарные, беспомощные генералы чуть с голоду не умерли посреди этого изобилия.

« — Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? — сказал один генерал.

— Да, — отвечал другой генерал: — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают».

Генералы избегли голодной смерти только найдя на острове «мужика». Он из собственных волос силки делал и дичь ловил, он в пригоршне суп им варил, он их в самодельной лодке через море-океан домой в Петербург привез...

Понятно, и невежество генералов и умелость мужика тут чрезвычайно преувеличены. В действительности не было, конечно, таких генералов, которые не знали бы, что булки из муки делают. Не было, разумеется, и «мужиков», которые могли бы в пригоршне суп варить. Это сказочные генералы и сказочный мужик. Но сказка давала Щедрину возможность запечатлеть основные качества всех классов тогдашнего общества, в особенности обрисовать пороки правящих классов, с исключительной цельностью, яркостью и остротой.

В сказке о двух генералах Щедрин показал паразитизм господствующих классов, нещадно эксплуатирующих народ. Генералы сами ничего не умеют сделать, зато они хорошо умеют заставлять работать на себя «мужика». Но это удается им только вследствие забитости и приниженности народа. Обнаружив на острове мужика, генералы «накидываются» на него: «Сейчас марш работать!» И «громаднейший мужичина», которого на необитаемом острове никто не мог принудить, пугается «строгих генералов» и не только начинает, как каторжный, на них работать, но еще и веревку свивает, чтобы генералы могли на ночь привязывать его к дереву. Работает



он не только за страх, но и за совесть; все думает, «как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушались». В этой сказке Щедрин бичует не только «генералов», но и «мужика» за его покорность своим угнетателям.

Другой образ этой покорности Щедрин дает в сказке «Кисель». Господа ели-ели кисель, а потом уехали, оставив его свиньям. Свиньи быстро счавкали кисель, а теперь и господа и свиньи вопят: «Чем-то на будущее время сыты будем?» Господа в этой сказке — помещики; свиньи — новые хозяева жизни, кулаки и буржуи; кисель — народ, который сперва обирали помещики, а потом и вовсе разорили кулаки.

Так вот этот кисель «был до того разымчив и мягок, что никакого неудобства не чувствовал оттого, что его ели». Даже еще радовался. «Стало быть, я хорош, коли господа меня любят!»

Однако это не значит, что Щедрин весь народ уподоблял мужику, ублажающему генералов, или киселю, который рад, что господа его едят. Щедрин показывал, как в народе растет ненависть к барам, мироедам и властям, всегда стоявшим на стороне обидчиков и врагов народа. Каменщик Федор, герой сказки «Путем-дорогою», не мирится с тем, что народ так задавлен. Он ясно видит, что правды нет там, где «рвут душу» простого человека. На издевательства властей он отвечает не робкими вздохами, а бурным негодованием. «Я ему кишки, псу несытому, выпущу!» Эту угрозу Федор, может быть, и не выполнит, но такие настроения предвещают и приближают восстание против бар, мироедов и господских прихвостней.

Кулаки и помещики эксплуатируют народ и его же презирают или даже ненавидят (сказка «Дикий помещик»). Интеллигенты часто восхищаются народом, много и умильно говорят о своей любви к нему, но суть дела от этих разговоров не меняется: и их сытая жизнь обеспечена трудом голодного мужика. В сказке «Коняга» народ изображен в виде тощей крестьянской лошади, изнемогающей под бременем непосильного труда. Собрались посмотреть на работу Коняги его счастливые братья, бездельные и сытые Пустоплясы. В старое время в народе ходила пословица: «Рабочий конь на соломе, пустопляс — на овсе». Эта пословица, очевидно, внушила сатирику сюжет его сказки. Но созданный народом образ коня-пустопляса Щедрин использовал, чтобы показать фальшивость барского «народолюбия».

Все пустоплясы восхищаются конягой-народом, его трудолюбием, неутомимостью, жизненной силой. Либерал хвалит «здравый смысл» народа, который сказывается в покорности



судьбе, в признании того, что «плетью обуха не перешибешь». Славянофил наделяет народ каким-то особенным религиозным духом. Больше всех захваливает «Конягу» народник. Народ, по его мнению, почерпает в своем труде «душевное равновесие», мир со своей совестью, «ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда».

Но разногласия не мешают всем пустоплясам хором и дружно кричать на Конягу: «Н-но, каторжный, н-но!»

Глубоким пониманием сути эксплуататорского строя проникнута сказка «Соседи». В этой сказке народ предстает в образе Ивана Бедного. Весь век без отдыха трудится Иван Бедный, а из нищеты выбиться не может. Сосед же его Иван Богатый не трудится, а деньги к нему рекой текут. Иван Богатый уделяет Ивану Бедному крохи со своего стола и очень гордится своим состраданием и заботливостью. Он уверяет, что Иван Бедный заживет в довольстве, когда наступят новые порядки: всех сравняют в правах, для всех будет один суд, со всех будут брать налоги по одному правилу. Эти либеральные меры проводятся, но ничуть не улучшают жизни Ивана Бедного, не выручают его из нищеты. А местный «мудрец и философ» разъясняет обоим Иванам, «что в планту так значит», чтобы Иван Богатый, не работая, богател, а Иван Бедный, работая, одною тюрей питался. Таков «плант» (план), то есть основной принцип данного общественного строя. Помочь Ивану Бедному может только изменение этого «планта». Сказка кончается знаменательными словами: «И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом — ничего не выдумаете, покуда в оном планту так значит».

Почти все сказки Щедрина написаны в начале царствования Александра III. Это было время крутой реакции. Новое правительство старалось свести на нет даже куцые реформы предыдущего царствования, свирепо расправлялось с революционным движением и народными волнениями, боролось с прогрессивной печатью, с подлинной литературой, наукой, просвещением, всюду видя «крамольные идеи».

Эту дикую власть, воюющую со своим народом, Щедрин рисует в образе «медведя на воеводстве», в образе «ретивого начальника», который поставил себе целью «достигать пользы посредством вреда» и для этого «народное продовольствие — прекратил, народное здравие — упразднил, письмена — сжег и пепел по ветру развеял».

Но Щедрин в своих сказках говорит не столько о правительстве, сколько об обществе.

В те годы многие интеллигенты, напуганные полицейским террором, спешили не только отойти от всякого общественного



дела, но и забыть «вредные мысли». Растерявшийся интеллигент легко отказывался от былых увлечений, целиком уходил в личный быт, в заботы о своем обогащении, заполнял время пустыми развлечениями, — словом, превращался в «обывателя». Во многих произведениях 80-х годов Щедрин говорит об измельчании интеллигенции, об утрате больших идей, общих интересов, серьезного подхода к жизни, чувства гражданской ответственности.

Перед нами проходят либералы, готовые на любые уступки, согласные даже свои куцые идеи проводить «по возможности» и «применительно к подлости».

Либерала Щедрин рассматривает как разновидность основного «героя» этого времени — обывателя. Этот герой показан в сказках: «Здравомысленный заяц», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь». Как видим, обыватель представлен в образе трусливого зайца либо в образе рыбы — животного с холодной кровью.

Щедрин издевается над покорностью обывателя, который старается в точности исполнять гнусные приказы властей и если чем недоволен, — так только недостаточной законностью форм правительственного разбоя. Так, «здравомысленный заяц» желает ввести в законные формы взаимоотношения зайцев и волков. «Кабы вы чередом пришли: господа, мол, зайцы! не угодно ли на сегодняшнюю волчью трапезу столько-то десятков штук предоставить? — С удовольствием, господа волки! Эй, староста! гони очередных! — И шло бы у нас всё по закону, как следует».

Также и «самоотверженный заяц» относится к волку не как к разбойнику, а как к законной власти. Этого зайца волк отпустил проститься с невестой, приняв вместо него в залог брата его невесты. Самоотверженный заяц спешит к назначенному часу выручать заложника, а в результате его честности и заложник и он сам — оба остаются в волчьих лапах.

Так же наивен «карась-идеалист». Это добрый и честный малый, мечтающий о том, «чтоб рыбы любили друг друга», «чтобы не я один, а все были бы счастливы». Но это беспочвенный утопист, оторванный от действительности. Он настолько не знает жизни, что сомневается в существовании щуки, а о том, что из рыб уху варят, — даже и не слышал никогда. Он верит, что «справедливость восторжествует, сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных», но к этому торжеству справедливости он видит только мирный путь «бескровного преуспевания». Карась-идеалист надеется повлиять на разум и совесть щуки и убедить ее отказаться от рыбной пищи. Он принимает вызов щуки на «диспут», думая прогнать ее



призывами к справедливости и добродетели. А щука в ответ его съедает.

Смысл этой сказки прямо революционный. Пока люди будут думать, что общего счастья можно достичь одними хорошими словами, — до той поры мир насилия и зла будет стоять незыблемо.

Самый типичный из щедринских сказочных обывателей — это «премудрый пискарь». В нем воплощена главная черта обывателя эпохи реакции — трусливое бегство от жизни.

Самоотверженный заяц полон горячих чувств: любви к невесте, жалости к ее брату, верности своему заячьему долгу. Карась-идеалист и здравомысленный заяц придумывают проекты рыбьего и заячьего счастья и чрезвычайно любят «умную свою канитель разводить». Но ум и сердце премудрого пискаря заняты лишь одним: как бы ему, пискарю, в уху не попасть или щуке в хайло. Всю жизнь он провел в темной, тесной норе, выдолбленной в речном дне, и всё «дрожал», боялся высунуться, чтобы не достаться щуке, раку или человеку. Не женился, друзей не завел: «ни он к кому, ни к нему кто». Всю жизнь считал себя «премудрым», а когда подошла смерть, — увидел, что жизнь прожита бесцельно, бесплодно, бессмысленно. В этой сказке Щедрин показывает, какой жалкой, «распостылой» становится жизнь, когда человеком руководит убогая «премудрость» труса.

Сказки Щедрина внушают нам глубокое презрение к трусости, подхалимству, лицемерию, они учат нас мужеству, стойкости, честному отношению к жизни.

Щедрин говорил в своих сказках о жизни прошлого века, но художественный смысл их гораздо шире. Образы сказок Щедрина приобрели такое же нарицательное значение, как, скажем, образы Хлестакова, Манилова, Иудушки Головлева.

В. И. Ленин, очень любивший и ценивший книги Щедрина, постоянно в своих речах и статьях цитировал его меткие фразы, употреблял его клички и прозвища, называл врагов революции именами смешных и жалких людей, созданных гением великого сатирика. Среди многих образов Щедрина мы находим у В. И. Ленина и героев щедринских сказок. Реакционеров-дворян Ленин называет «дикими помещиками», угнетенное крестьянство — «конягой», либералов и лжесоциалистов — «премудрыми пискарями».

Непревзойденному искусству обличения всего порочного, антинародного, реакционного учится у Щедрина наша советская литература, стремящаяся выжигать огнем сатиры всё отрицательное, омертвевшее, мешающее нашему движению вперед.

*Б. Бухштаб*





## ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, — сказал один генерал: — вижу, будто живу я на необитаемом острове...

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

— Господи! Да что же это такое! Где мы! — вскрикнули оба не своим голосом.



И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что всё это не больше, как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось всё то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру. Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

— Что же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь слезы: — ежели теперича доклад написать — какая польза из этого выйдет?

— Вот что, — отвечал другой генерал: — подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое. Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство; вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов<sup>1</sup> учителем каллиграфии<sup>2</sup> и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошел один генерал направо и видит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

— Господи! Еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

<sup>1</sup> Школа военных кантонистов — низшая военная школа для солдатских детей.

<sup>2</sup> К а л л и г р а ф и я — искусство чистописания.



Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

— Ну, что, ваше превосходительство, промыслили что-нибудь?

— Да вот нашел старый номер «Московских Ведомостей»,<sup>1</sup> и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натошак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? — сказал один генерал.

— Да, — отвечал другой генерал: — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают.

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить. . . Только как всё это сделать?

— Как всё это сделать? — словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! — сказал один генерал.

— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! — вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила! — сказали они оба разом: — ведь этак мы друг друга съедим!

— И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разгово-

---

<sup>1</sup> «Московские ведомости» — реакционная газета. В дальнейшем тексте сказки Щедрин издевается над ее бессодержательностью и казенной восторженностью.



ром развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.

— Начинайте! — отвечал другой генерал.

— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

— Станный вы человек, ваше превосходительство; но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишите, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать — и спать пора!

Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, — начал опять один генерал.

— Как так?

— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся...

— Тогда что ж?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

— Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном нумере «Московских Ведомостей», жадно принялись читать его.

«Вчера, — читал взволнованным голосом один генерал, — у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву<sup>1</sup> на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая»,<sup>2</sup> и питомец лесов кавказских, фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника...»

— Тьфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее:

---

<sup>1</sup> Р ан де ву — свидание (франц.).

<sup>2</sup> «Шекснинска стерлядь золотая» — цитата из стихотворения Державина «Приглашение к обеду».



«Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более, что в осетре был опознан частный пристав<sup>1</sup> Б.), был в здешнем клубе фестиваль.<sup>2</sup> Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел:

«Из Вятки пишут: один из здешних старожил изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высесть; когда же, от огорчения, печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Всё, на что бы они ни обратили взоры, — всё свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение...

— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно: — если бы нам найти мужика?

— То есть как же... мужика?

— Ну, да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебок! — накинулись они на него: — небось

<sup>1</sup> Частный пристав — начальник полицейского участка в городе.

<sup>2</sup> Фестиваль — здесь в значении: «пиршество».



и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стрелка, но они так и зачоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: не дать ли и тунеядцу частичку?

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадешь!

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужичина-лежебок.

— Довольны, любезный друг, видим твое усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только своей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убежал, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге, между тем, пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение,<sup>1</sup> или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

---

<sup>1</sup> Вавилонское столпотворение — по библейской легенде, жители древнего Вавилона пытались построить столб (башню) вышиной до неба; в наказание за дерзкую попытку бог «смешал» их языки — и строители перестали понимать друг друга.







— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в «Московских Ведомостях» повествуют...

— А не почитать ли нам «Московских Ведомостей»?

Сыщут номер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани — и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако, генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! Всё сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а всё, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

— Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закружится.<sup>1</sup>

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало!

— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше словно муха ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушались! И выстроил он корабль — не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивающуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время

---

<sup>1</sup> Чины делились на 14 классов; высшим был 1-й класс. Чин 4-го класса в гражданской службе — действительный статский советник, в военной — генерал-майор. Мундиры чиновников первых классов были украшены золотым шитьем.

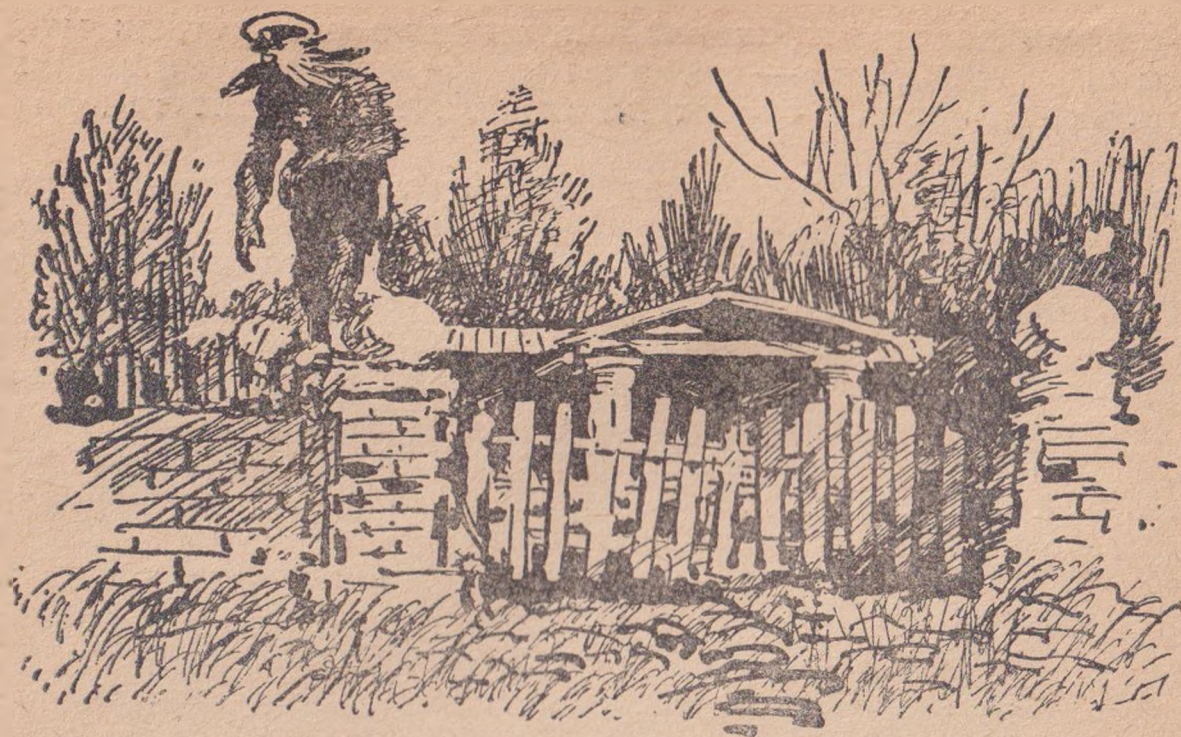


пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик всё гребет да гребет, да кормит генералов сселедками.

Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; послали ему рюмку водки да пяток серебра: веселись, мужичина!





## ДИКИЙ ПОМЕЩИК

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет гляючи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть»<sup>1</sup> и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды богу этот помещик:

— Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а всё прибывает, — видит и опасается: а ну, как он у меня всё добро приест?

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочитает: старайся!

— Одно только слово написано, — молвит глупый помещик: — а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то, чтоб как-нибудь, всё по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забре-

---

<sup>1</sup> «Весть» — газета реакционных помещиков.



дет — сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить, по секрету, в господском лесу соберется — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую! — говорит помещик соседям своим: — потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут — всё нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: моя вода! Курица за околицу выбредет — помещик кричит: моя земля! И земля, и вода, и воздух — всё его стало! Лучины не стало мужику в светец<sup>1</sup> зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господа богу.

— Господи! легче нам пропасть и с детьми малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик — никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, — думает, — театр у себя! напишу к актеру Садовскому:<sup>2</sup> приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский; сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто, и ставить театр и занавес поднимать некому.

— Куда же ты крестьян своих девал? — спрашивает Садовский у помещика.

— А вот бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

— Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?

— Да я уж и то сколько дней немытый хожу!

---

<sup>1</sup> Светец — подставка для лучины, освещающей избу.

<sup>2</sup> Садовский П. М. (1818—1872) — знаменитый русский актер.



— Стало быть, шампиньоны<sup>1</sup> на лице растить собрался? — сказал Садовский, и с этим словом и сам уехал, и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: что это я всё гран-пасьянс да гран-пасьянс раскладываю! попробую-ко я с генералами впятером пульку-другую<sup>2</sup> сыграть!

Сказано — сделано; написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали — и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

— А оттого это, — хвастается помещик: — что бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

— Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы: — Стало быть, теперь у вас этого холопьяго запаху нисколько не будет?

— Нисколько, — отвечает помещик.

Сыграли пульку, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

— Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? — спрашивает помещик.

— Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику<sup>3</sup> на каждого человека.

— Что ж это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

— А вот, закусите, чем бог послал!

— Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

— Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

— Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? — накинулись они на него.

— Сырьем кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть...

---

<sup>1</sup> Шампиньоны — вид съедобных грибов; их очень ценили и не только собирали, но и разводили на продажу в искусственных условиях.

<sup>2</sup> Пасьянс или гран-пасьянс — занятие, состоящее в раскладывании игральных карт по известным правилам; пулька — партия в карточной игре.

<sup>3</sup> Печатный пряник — пряник с выдавленными рисунками.



— Однако, брат, глупый же ты помещик! — сказали генералы и, не dokonчив пульты, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком честуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на всё рукою и начал раскладывать гран-пасьянс.

— Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что́ может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз»<sup>1</sup> и думает: ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать. И как нагло, сколько раз ни разложит — всё у него выходит, всё выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

— Уж если, — говорит, — сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь покуда довольно гран-пасьянс раскладывать, пойду, позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И всё думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, что всё паром да паром, а холопского духу чтоб ни сколько не было. Думает, какой он плодовитый сад разведет: вот тут будут груши, сливы; вот тут — персики, тут — грецкий орех! Посмотрит в окошко — ан там всё как он задумал, всё точно так уж и есть! ломаются, по щучьему велению, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а всё одно молоко, всё молоко! Думает, какой он клубники насадит, всё двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец, устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться — ан там уж пыли на вершок насело...

— Сенька! — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет: — ну, пускай себе до поры, до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что́ может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет, — и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника:<sup>2</sup> «Какой-такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры: быть твердым и не

---

<sup>1</sup> «Дамский каприз» — вид пасьянса.

<sup>2</sup> Исправник — начальник уездной полиции.



взирать! Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра...<sup>1</sup>

— Ева, мой друг! — говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

— Сенька! — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою.

— Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя: — хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая занесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает: ну, этот, кажется, останется доволен!

— Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временно-обязанные<sup>2</sup> вдруг исчезли? — спрашивает исправник.

— А вот так и так бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил.

— Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

— Подати? .. это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

— Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

— Уж это... не знаю... я, с своей стороны, платить не согласен!

— А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий<sup>3</sup> существовать не может?

— Я что ж... я готов! рюмку водки... я заплачу!

— Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

— Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

— Глупый же вы, господин помещик! — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж

---

<sup>1</sup> Евфрат и Тигр — реки в Малой Азии, между которыми, по библейской легенде, находился рай. В мечтах дикий помещик видит себя Адамом в раю.

<sup>2</sup> Временно-обязанные — крестьяне, уже «освобожденные», но еще обязанные работать на помещика до заключения с ним соглашения о выкупе земли.

<sup>3</sup> Винная и соляная регалии — исключительное право государства продавать водку и соль.



третий человек его дураком чествует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык, означает только глупость и безумие? и неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «а знаете ли, чем это пахнет?» и испугался не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнатам и всё думает: — чем же это пахнет? уж не пахнет ли подворением каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?<sup>1</sup>

— Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: в Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал! Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, всё, кажется, так и говорит: а глупый ты, господин помещик! Видит он, бежит через комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гран-пасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышиный аппетит.

— Кшш... — бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя-кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

— Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал.

Однако твердость души всё еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что

---

<sup>1</sup> В о д в о р е н и е — здесь в смысле ссылки. Чебоксары и Варнавины — маленькие, глухие уездные города.



сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин князь Урус-Кучум-Кильдибаев от принципов отступил!

И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались как железные. Сморгаться уж он давно перестал, ходил же всё больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рывканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг, влезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит это заяц, станет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, — а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя в праве войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

— Хочешь, Михайло Иванович, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю.

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь: — только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил.

— А почему так?

— А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем, капитан-исправник хотя и покровительствовал помещикам, но в виду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: а как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься? Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в како-







вом человеко-медведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства<sup>1</sup> свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время через губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

— И откуда вы, шельмы, берете!!

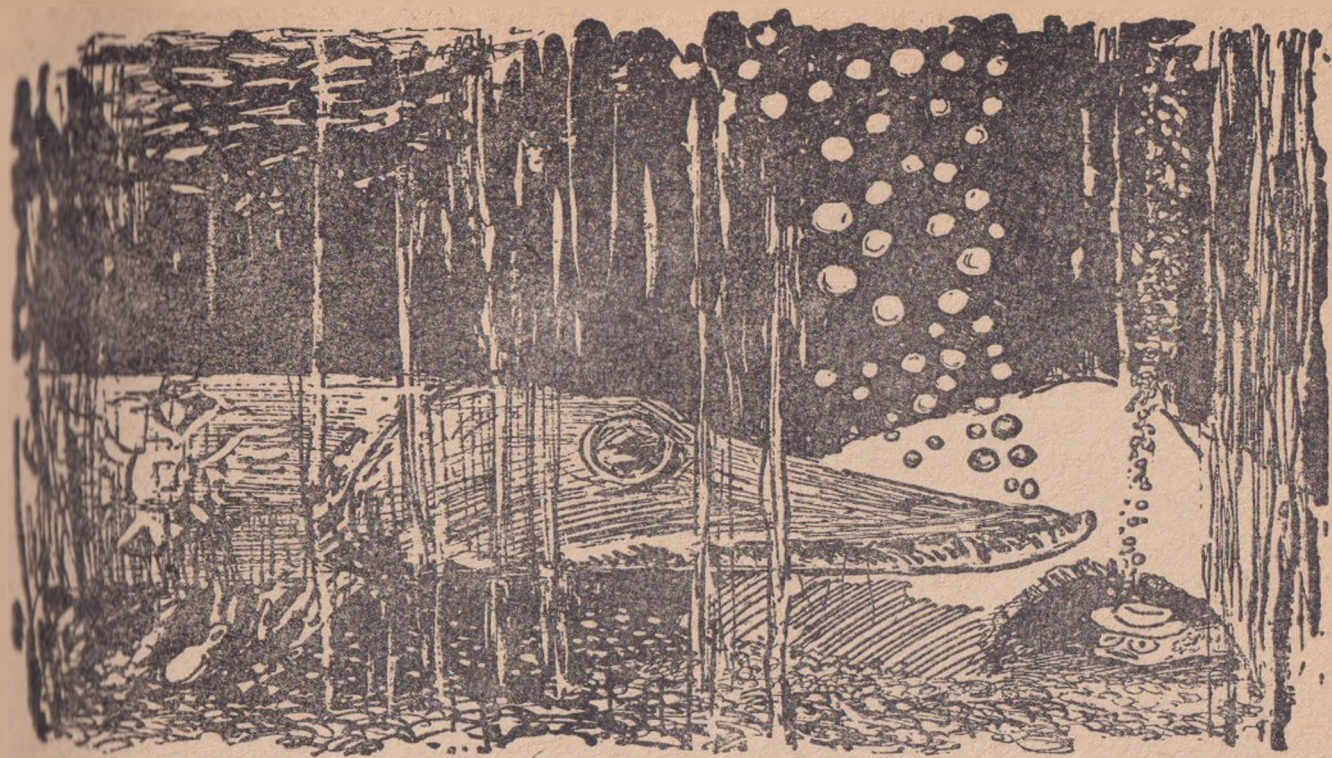
Что же сделалось, однако, с помещиком? — спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доныне. Раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

---

<sup>1</sup> Ф а н ф а р о н с т в о — чванство, хвастовство.





## ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ

Жил-был пискарь. И отец, и мать у него были умные; помиленьку да полегоньку аридовы веки<sup>1</sup> в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок, — говорил старый пискарь, умирая: — коли хочешь жизнью жуировать,<sup>2</sup> так гляди в оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется — везде ему мят. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И неводá, и сети, и вёрши, и норотá, и, наконец...

<sup>1</sup> Аридовы веки — долгие годы. По имени легендарного библейского патриарха Арида, прожившего будто бы 962 года.

<sup>2</sup> Жуировать — проводить время в удовольствиях, искать от жизни одних наслаждений.



уду! Кажется, что может быть глупее уды? — Нитка, на нитке крючок, на крючке — червяк или муха надета... Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем, именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! — говорил он: — потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься — ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попало! И щуки и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, — даже лежей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, — это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они — не трогают... «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает. Наконец, стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни<sup>1</sup> в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают... Слышит — «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. — Это — «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу — будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину — та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется — и присмирет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: какой от него, от малыша, прок для ухи! пушай в реке порастет! Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки — домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива, ни мертва выглядывает...

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако, и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

---

<sup>1</sup> Мотня — часть невода, в которую попадает рыба.



Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. «Надо глядеть в оба, — скавил он себе: — а не то как раз пропадешь!» — и стал жить да поживать. Первым делом, нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным допухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят — он будет моцион делать, а днем — станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть всё-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдён, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козавку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет, и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать — да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды — и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и всё-то думает: кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет? Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок — глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось... Что, если бы в это время щуренок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем всё дрожал, всё дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору поротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, — глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: слава тебе господи! жив!



Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!

И прожил премудрый пискарь таким родом слишком столет. Всё дрожал, всё дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: слава богу! кажется, жив!

Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: вот, кабы все так жили — то-то бы в реке тихо было! Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я! — тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: слава богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец. И вспомнились ему тут щучьи слова: вот, кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет... А нутка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!

Потому что, для продолжения пискарьего рода, прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того, чтоб пискаря семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались обществу, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и вырождаться в сметку.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят.



Всё это представлялось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: вылезу-ка я из норы да гогаем по всей реке проплыву! Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: никому, никто.

Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он всё дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде; ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы, — может быть, как и он, пискари — и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: дай-ка, спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился слишком сто лет прожить, и не щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на удю не поймал? Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!

И что всего обиднее: не слышать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: слышали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а всё только распостылую свою жизнь бережет? А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть, не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шопоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность — свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и премудрого?





### САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: зайнышка! остановись, миленький! А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит: за то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота<sup>1</sup> посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевелится. Только об одном думает: через столько-то суток и часов смерть должна прийти. Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и еще того хуже: выйдет волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьи скажет, и оба за

---

<sup>1</sup> Лишение живота (то есть жизни) — старинное название смертной казни.







ляются: ха-ха! И волчата тут же за ними увяжутся; играючи, к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат... А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет, чай, его теперь невеста, думает: изменил мне косою! А может быть, подождала-подождала, да и с другим... слюбилась... А может быть, и так: играла, бедняжка, в кустах, а тут ее волк... и слопал!..

Думает это бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего — куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегаёт, к его зайчихе в гости ходит... Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается — ан это невестин брат.

— Невеста-то твоя помирает, — говорит. — Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачахла. Теперь только обо одном и думает: неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!

Слушал эти слова осужденный, и сердце его на части разрывалось. За что? чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пушал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности — неужто ж за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой зайнышке, которая тем только и виновата, что его, косого, всем сердцем полюбила! Так бы он к ней и полетел, взял бы ее, серенькую зайнышку, передними лапками за ушки, и всё бы миловал да по головке бы гладил.

— Бежим! — говорил, между тем, посланец.

Услыхавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прынет — и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце.

— Не могу, — говорит: — волк не велел.

А волк, между тем, всё видит и слышит, и потихоньку по волчьим с волчихой перешептывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

— Бежим! — опять говорит посланец.



— Не могу! — повторяет осужденный.

— Что вы там шепчетесь, злоумышляете? — как гаркнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу — что, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой зайньке и без жениха, и без братца — обоих волк с волчихой слопают!

Опомнились косые — а перед ними и волк, и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

— Мы, ваше благородие, ничего... так, промежду себя... кемдичок проведать меня пришел! — лепечет осужденный, а сам так и мрет от страху.

— То-то «ничего»! знаю я вас! пальца вам тоже в рот не клади! Сказывайте, в чем дело?

— Так и так, ваше благородие, — вступился тут невестин брат: — сестрица моя, а его невеста, помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

— Гм... это хорошо, что невеста жениха любит, — говорит волчиха. — Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк! отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

— Да ведь его на послезавтра есть назначено...

— Я, ваше благородие, прибегу... я мигом оборочу... у меня это... вот как бог свят прибегу! — заспешил осужденный, и чтобы волк не сомневался, что он *может* мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него влюблялся и подумал: вот, кабы у меня солдаты такие были!

А волчиха пригорюнилась и молвила:

— Вот, поди ж ты! заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить косого в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом<sup>1</sup> у себя оставил.

— Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра, — сказал он: — я его вместо тебя съем; а коли воротишься — обоих съем, а может быть... ха-ха... и помилую!

Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренется — он ее «на уру» возьмет; река — он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; бо-

<sup>1</sup> А м а н а т — заложник.



лото — он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («непременно женюсь!» ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть...

Даже птицы быстроте его удивлялись, — говорили: вот в «Московских Ведомостях» пишут, будто у зайцев не душа а пар — а вон он как... улепетывает!

Прибежал, наконец. Сколько тут радостей было — этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Серенькая зайница, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан, и ну лапками «кавалерийскую рысь» выбивать — это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем; не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы — всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отведать.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердил:

— Мне бы в баню сходить да жениться поскорее!

— Что больно к спеху занадобилось? — подшучивает над ним зайчиха-мать.

— Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется, и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову — господин. Судили тут тетки и сестрицы — и те в один голос сказали: правду ты, косой, молвил: не давши слова — крепись, а давши — держись! никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косого окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.

— Беспременно меня волк съест, — говорил он: — так ты будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.

И вдруг, словно в забытии (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

— А может быть, волк меня... ха-ха... и помилует!

Только его и видели.

Между тем, куда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от



волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше еще шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячем пути сражение кипело. В третьем месте холера проявилась — надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть... А кроме того, волки, лисицы, совы — на каждом шагу так и стерегут.

Умен был косой; заранее так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи, ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит; глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему все еще сколько бежать осталось! И всё-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит! Вспомнит он об этом и еще шибче припустит. Ни горы, ни доли, ни леса, ни болота — всё ему нипочем! Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слез; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули; в воздухе холодком пахнуло. И вдруг всё кругом затихло, словно помертвело. А косой всё бежит и всё одну думу думает: неужто ж я друга не выручу!

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг — пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы дневные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шопот пошел, слышнее, слышнее... А косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: погубил я друга своего, погубил!

Но вот, наконец, гора. За этой горой — болото и в нем — волчье логово... опоздал, косой, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы... вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от бессилия... неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним как на блюдечке. Где-то вдали, на колокольне, бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к аманату, сгреб его



в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут; обсели кругом отца-матери, щелкают зубами, учатся.

— Здесь я! здесь! — крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.

— Вижу, — сказал он: — что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите, до поры до времени, оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!





## КАРАСЬ-ИДЕАЛИСТ<sup>1</sup>

Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ерш под выражением «слукавить» — неизвестно, но только первый раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:

— Но ведь это подлость!

На что ерш возражал:

— Вот ужó увидишь!

Карась — рыба смиренная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит она больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и подбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продолжения. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что

<sup>1</sup> Идеалист — здесь в смысле: непрактичный человек, не понимающий реальной жизни, на место которой он подставляет воображаемый, украшенный вымыслами мир.



от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.

Ловят карасей, по преимуществу, сетью или неводом; но чтобы ловля была удачна, необходимо иметь споровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства<sup>1</sup> охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом, и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, — не знаю; знаю только, что однажды, сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задирает карась.

— Не верю, — говорил он: — чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспевание, верю в гармонию<sup>2</sup> и глубоко убежден, что счастье — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием!

— Дождись, — иронизировал ерш.

Ерш спорил отрывисто и беспокойно. Это рыба нервная, которая, повидимому, помнит немало обид. Накипело у ней на сердце... ах, накипело! До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уже и в помине нет. Вместо мирного жития, она повсюду распрю видит; вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен всё это в расчет принимать. Карася же

---

<sup>1</sup> Предводитель дворянства — выборный представитель дворянства уезда или губернии, защищавший интересы своего сословия в правительственных учреждениях.

<sup>2</sup> Гармония. — Этим словом социалисты-утописты обозначали будущий идеальный социальный строй.



считает «блаженненьким», хотя в то же время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».

— И дождусь! — отозвался карась: — и не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустраняемыми. Тьма — совершившийся факт, и свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!

— Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и шук не будет?

— Каких таких шук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: на то щука в море, чтоб карась не дремал, то он думал, что это что-нибудь вроде тех нис<sup>1</sup> и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

— Ах, фофан ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал восвояси; но спустя малое время собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали диспутировать.

— В жизни первенствующую роль добро играет, — разглагольствовал карась: — зло — это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила всё-таки в добре замыкается.

— Держи карман!

— Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман!» разве это ответ?

— Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует. Глупый ты — вот тебе и сказ весь!

— Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой — об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущей силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История — это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены? — подтрунивал ерш.

---

<sup>1</sup> Ниссы — в немецких сказках то же, что в русских русалки.



— Не постраданы еще, но будут постраданы — это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть, — и ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем, а нынче именно во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли — в Урале, рассказывают, во время багрения, вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче — шабаш. Неводы да верши, да уды — больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?

— А тебе, видно, не всё равно, каким способом в уху попасть?

— В какую такую уху? — удивлялся карась.

— Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слыхал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь, чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь: что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь... заколю!

Ерш ошетиживался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

— Намеднись в нашу заводь щука заглядывала, — объявлял ерш.

— Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

— Она. Приплыла, заглянула, молвила: чтой-то будто уж слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?... И с этим уплыла.

— Что же мне теперича делать?

— Изготавливаться — только и всего. Ужб, как приплывет она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло!

— Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват...

— Глуп ты — вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!

— Не может такого закона быть! — искренне возмущался карась. — И щука зря не имеет права глотать, а должна пре-



жде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.

— Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторю: фофан! фофан! фофан!

Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла свое.

— Вот кабы все рыбы между собой согласились... — загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала о́торопь. О чем это фофан речь заводит? — думалось ему: — того гляди, провретсЯ, а тут головель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам знай, прислушивается.

— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет! — убеждал он карася: — не для чего пасть-то разевать: можно и шопотком, что́ нужно, сказать.

— Не хочу я шептаться, — продолжал карась невозмутимо: — а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда...

Но тут ерш грубо прерывал своего друга.

— С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! — кричал он на карася и, наостривши лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а всё-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не продаст — в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя об ней прямо что-нибудь худое сказать, а всё-таки, того гляди, не понимаячи, сболтнет! А об головлях, язях, линиях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами<sup>1</sup> принять готовы! Бедный карась! ни за грош он между ними пропадет!

— Посмотри ты на себя, — говорил он карасю: — ну, какую ты, неровён час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, рот — чутошный. Даже чешуя на тебе — и та не серьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости — как есть увалены! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

— Да за что́ ж меня есть, коли я не провинился? — по-прежнему упорствовал карась.

---

<sup>1</sup> Присяга под колоколами. — В старину присяга, принимаемая под звон колоколов, считалась особенно торжественной и обязывающей.



— Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что»? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется — только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон<sup>1</sup> с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднишь говорил: вот кабы все рыбы между собой согласились... А что, если бы ракушки между собой согласились — сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.

— Но ракушки — ведь это... — пробормотал он смущенно.

— Ракушки — ракушки, а караси — караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями — щуки. И ракушки ни в чем неповинны, и караси не виноваты, а и те, и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не придумаешь.

Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубину и стал на досуге думать. Думал, думал и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однакож, додумался.

— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были — это ты правду сказал, — объяснил он ершу: — а потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

— Кто же тебе это сказал?

— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошел. У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не проглотить. Потяни рылом воду, ан в зобу у тебя уже видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их — сами в рот лезут. Ну, а карась — совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают, — так с таким стариком еще поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтобы он серьезную пакость сделал — ну, тогда, конечно...

— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.

— Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видел, но только могу судить по рассказам, что они к голосу правды не глухи. Помилуй-скажи: может ли такое злодейство статься! Лежит карась, никого не трогает, и вдруг, ни

---

<sup>1</sup> М а м о н — здесь в смысле: желудок.



дай, ни вынеси за что, к щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.

— Чудак! Да ведь намерднись, на глазах у тебя, монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил... Как ты думаешь, любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

— Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что с теми карасями случилось: ино их съели, ино, в сажалку<sup>1</sup> посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

— Ну, живи, коли так, и ты, сорви-голова!

Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленою плесенью подернутое, самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами не задавайся — безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом всё больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев<sup>2</sup> повышал.

— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! — ораторствовал он: — чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!

— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ерш.

— Я, брат, подъеду! — стоял на своем карась: — я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

— А нутка, скажи!

— Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?

— Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот прокалю?

— Ах, нет! сделай милость, ты этим не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права сознаем, когда нас, с малых лет, в гражданских чувствах воспитывать будут!

— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?

— Всё-таки...

— То-то «всё-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в тине лежа, делать будешь?

Не в тине, а вообще...

— Например?

---

<sup>1</sup> С а ж а л к а — речное судно, приспособленное для сохранения живой рыбы.

<sup>2</sup> Э м п и р е и — здесь в смысле: мечты, оторванные от реальной действительности.



— Например, можах меня и ухё захочет сварить, а я ему сварю! не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!

— А он тебя, за грубость, на сковородку, либо в золу и горячую... Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопыи чувства надо иметь — вот это верно. Схоронился где погуще и молчи, остолоп!

Или еще:

— Рыбы не должны рыбами питаться, — бредил наяву карась. — Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И всё это добро, всё на потребу.

— А для щук на потребу караси, — отрезвлял его ерш.

— Нет, карась сам себе довлеет.<sup>1</sup> Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особый закон, в видах обеспечения его личности, издать!

— А ежели тот закон исполняться не будет?

— Тогда надо внушение распубликовать: лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

— И ладно будет?

— Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, карась всё бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, — а ему — ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчета вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему головель с повесткой: на завтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! чуть свет ответ держать явись!

Карась, однакож, не обробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.

Даже ерш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уже далеко зашел в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили? Может быть, она... добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется, а, напротив

---

<sup>1</sup> Сам себе довлеет — обладает собственным, самостоятельным значением.



того, с расчетцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет да и скажет: за то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этой заводью; будь ты над нею начальник!

Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и дивится: каких ему про щуку сплётков ни наплели, а она — рыба как рыба! Только рот до ушей да хайло такое, что как раз ему, карасю, пролезть.

— Слышала я, — молвила щука: — что очень ты, карась, умен и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.

— Об счастье я больше думаю, — скромно, но с достоинством ответил карась. — Чтобы не я один, а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.

— Гм... и ты думаешь, что такому делу статься возможно?

— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

— Например: плыву я, а рядом со мною... карась?

— Так что же такое?

— В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карася-то... съем?

— Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но не рыбы.

— Маловато для меня. Головель! неужто такой закон есть? — обратилась щука к головлю.

— В забвении, ваше высокостепенство! — ловко вывернулся головель.

— Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?

— А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче — ты и дело на себя посильнее возьмешь; а мне, карасю, по моим скромным способностям, и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого — вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то еще где пока-



жется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придется!

— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что: так, значит, по-твоему, и я работать буду должна?

— Как прочие, так и ты.

— В первый раз слышу. Поди, проспись!

Проспался ли, нет ли карась, но ума у него, во всяком случае, не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.

— Так ты полагаешь, что я работать стану, и ты от моих трудов лакомиться будешь? — прямо поставила вопрос щука.

— Все друг от дружки... от общих, взаимных трудов...

— Понимаю: «друг от дружки»... а между прочим, и от меня... гм! Думается, однакож, что ты это зазорные речи говоришь. Головель! Как, по-нынешнему, такие речи называются?

— Сицилизмом, ваше высокостепенство!

— Так я и знала. Давненько я уж слышу: бунтовские, мол, речи карась говорит! Только думаю: дай, лучше сама послушаю... Ан вон ты каков!

Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

— Я, ваше высокостепенство, ничего, — пробормотал он в смущении: — это я по простоте...

— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты — карась как карась, — только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.

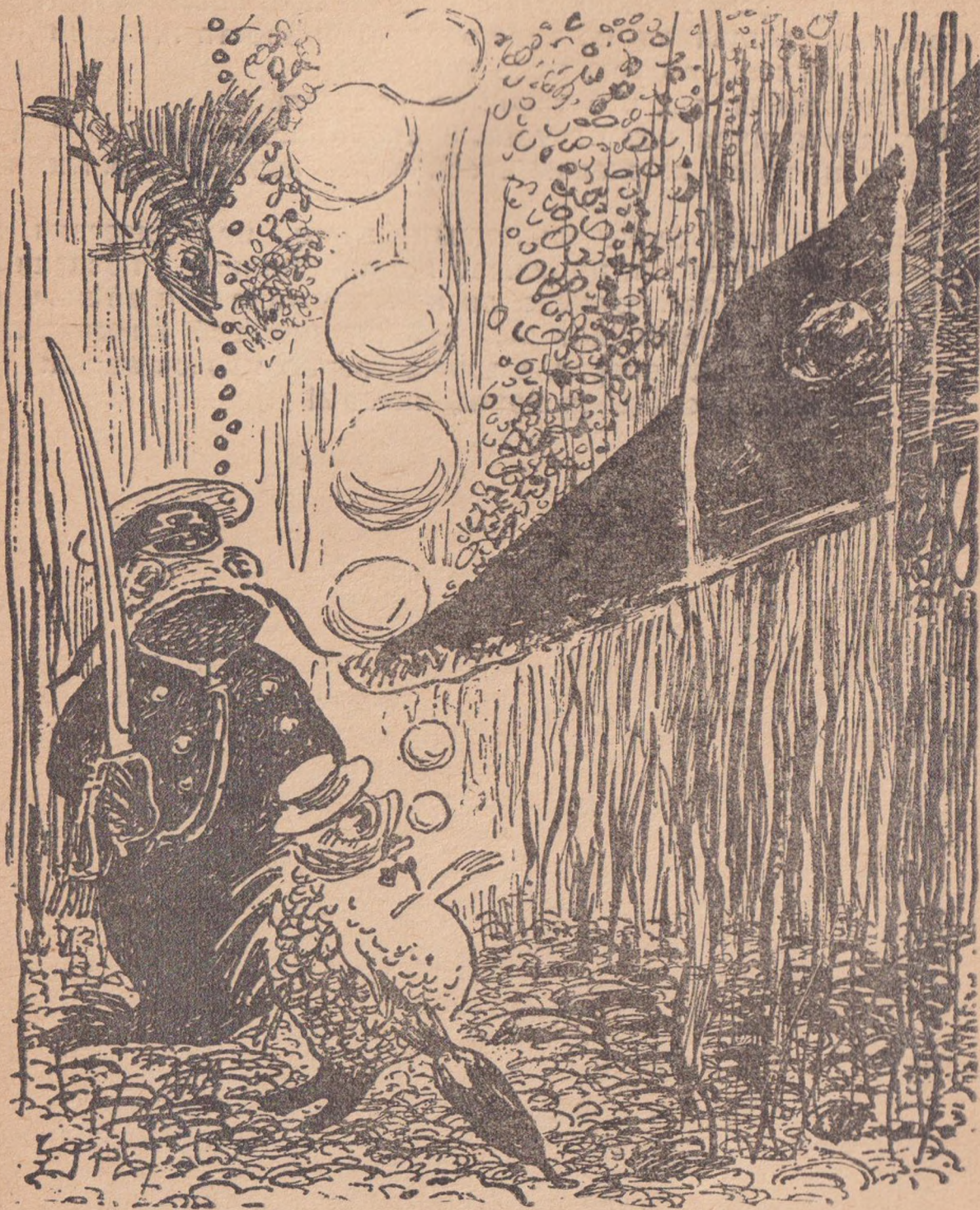
Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была, и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили головы и взяли под караул.

Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он всё еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.







— Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука: — да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, зашелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:

— Знаешь ли ты, что такое добродетель?

Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ерш, который уж заранее всё предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил:

— Вот они, диспуты-то наши, каковы!





## ВЕРНЫЙ ТРЕЗОР

Служил Трезорка сторожем при лабазе московского 2-й гильдии купца<sup>1</sup> Воротилова и недреманным оком хозяйское добро сторожил. Никогда от конуры не отлучался; даже Живодерки, на которой лабаз стоял, настоящим образом не видал; с утра до вечера так на цепи и скачет, так и заливается! Caveant consules!<sup>2</sup>

И премудрый был, никогда на своих не лаял, а всё на чужих. Пройдет, бывало, хозяйский кучер овес воровать — Трезорка хвостом машет, думает: много ли кучеру нужно! А случится прохожему по своему делу мимо двора идти — Трезорка еще где заслышит: ах, батюшки, воры!

Видел купец Воротилов Трезоркину услугу и говорил: цены этому псу нет! И ежели случалось в лабаз мимо собачьей конуры проходить, непременно скажет: дайте Трезорке помоев! А Трезорка из кожи от восторга лезет: рады стараться, ваше степенство!... хам-ам! почивайте, ваше степенство, спойно... хам... ам... ам... ам!

---

<sup>1</sup> 2-й гильдии купец. — Купечество делилось на три разряда (гильдии), в зависимости от величины торговых оборотов.

<sup>2</sup> Caveant consules! — Да будут бдительны консулы! (Древнеримская формула.)



Однажды даже такой случай был: сам частный пристап к купцу Воротилову на двор пожаловал — так и на него Трезорка въззрился. Такой содом поднял, что и хозяин, и хозяйка, и дети — все выбежали. Думали, грабят; смотрят — аи гость дорогой!

— Вашескородие! милости просим! Цыц, Трезорка! Ты это что, мерзавец? не узнал? а? Вашескородие! водочки! закусить-с.

— Благодарю. Прекраснейший у вас пёсик, Никанор Семеныч! благонамеренный!

— Такой пес! такой пес! Другому человеку так не понять, как он понимает!

— Собственность, значит, признает; а это, по нынешнему времени, ах как приятно!

И затем, обернувшись к Трезорке, присовокупил:

— Лай, мой друг, лай! Нынче и человек, ежели который с отличной стороны себя зарекомендовать хочет, — и тот по-песьему лаять обязывается!

Три раза Воротиллов Трезорку искушал, прежде чем вполне свое имущество доверил ему. Нарядился вором (удивительно, как к нему этот костюм шел!), выбрал ночь потемнее и пошел в амбар воровать. В первый раз корочку хлеба с собой взял, — думал этим его соблазнить, — а Трезорка корочку обнюхал, да как вцепится ему в икру! Во второй раз целую колбасу Трезорке бросил: пиль, Трезорушка, пиль! — а Трезорка ему фалду оторвал. В третий раз взял с собой рублевую бумажку замасленную — думал, на деньги пес пойдет; а Трезорка, не будь прост, такого трезвону поднял, что со всего квартала собаки сбежались: стоят да дивуются, с чего это хозяйский пес на своего хозяина заливаётся?

Тогда купец Воротиллов собрал домочадцев и при всех сказал Трезорке:

— Препоручаю тебе, Трезорка, все мои потроха: и жену, и детей, и имущество — стереги! Принесите Трезорке помоев!

Понял ли Трезорка хозяйскую похвалу, или уж сам собой, в силу собачьей природы, лай из него словно из пустой бочки валил — только совсем он с тех пор иссобачился. Одним глазом спит, а другим глядит, не лезет ли кто в подворотню; скакать устанет — ляжет, а цепью всё-таки погромыхивает: вот он я! Накормить его позабудут — он даже очень рад: ежели, дескать, каждый-то день пса кормить, так он, чего доброго, в одну неделю разопсеет! Пинками его челядинцы наделают — он и в этом полезное предостережение видит, потому что, ежели пса не бить, он и хозяина, того гляди, позабудет.

— Надо с нами, со псами, сурьезно поступать, — рассу-



ждал он: — и за дело бей, и без дела бей — вперед наука! Тогда только мы, псы, настоящими псами будем!

Одним словом, был пес с принципами и так высоко держал свое знамя, что прочие псы поглядят-поглядят, да и подожмут хвост — куды тебе!

Уж на что Трезорка детей любил, однако, и на их искушения не сдавался. Подойдут к нему хозяйские дети:

— Пойдем, Трезорushка, с нами гулять!

— Не могу.

— Не смеешь?

— Не то что не смею, а права не имею.

— Пойдем, глупый! мы тебя потихоньку... никто и не увидит!

— А совесть?

Подожмет Трезорка хвост и спрячется в конуру, от соблазна подальше.

Сколько раз и воры сговаривались: поднесемте Трезорке альбом с видами Замоскворечья; но он и на это не польстился.

— Не требуется мне никаких видов, — сказал он: — на этом дворе я родился, на нем же и старые кости сложу — каких еще видов нужно! Уйдите до греха!

Одна за Трезоркой слабость была: Кутьку крепко любил, но и то не всегда, а временно.

Кутька на том же дворе жила и тоже была собака добрая, но только без принципов. Полает и перестанет. Поэтому ее на цепи не держали, а жила она больше при хозяйской кухне и около хозяйских детей вертелась. Много она на своем веку сладких кусков съела и никогда с Трезоркой не поделилась; но Трезорка нимало за это на нее не претендовал: на то она и дама, чтобы сладенько поест! Но когда Кутькино сердце начинало говорить, то она потихоньку взвизгивала и скреблась лапой в кухонную дверь. Заслышав эти тихие всхлипывания, Трезорка, с своей стороны, поднимал такой неистовый и, так сказать, характерный вой, что хозяин, понимая его значение, сам спешил на выручку своего имущества. Трезорку спускали с цепи и на место его сажали дворника Никиту. А Трезорка с Кутькой, взволнованные, счастливые, убегали к Серпуховским воротам.

В эти дни купец Воротилов делался зол, так что когда Трезорка возвращался утром из экскурсии, то хозяин бил его арапником нещадно. И Трезорка, очевидно, признавал свою вину, потому что не подбегал к хозяину гоголем, как это делают исполнившие свой долг чиновники, а униженно и поджавши хвост подползал к ногам его; и не выл от боли под ударами арапника, а потихоньку взвизгивал: mea culpa! mea



maxima culpa! <sup>1</sup> В сущности, он был слишком умен, чтобы не понимать, что, поступая таким образом, хозяин упускал из вида некоторые смягчающие обстоятельства; но в то же время, рассуждая логически, он приходил к заключению, что ежели его в таких случаях не бить, то непременно он разопсее.

Но что было особенно в Трезорке дорого, так это совершенное отсутствие честолюбия. Неизвестно, имел ли он даже понятие о праздниках и о том, что к праздникам купцы имеют обыкновение дарить верных своих слуг. Никаноры ли («сам» именинник), Анфисы ли («сама» именинница) на дворе — он всё равно, что в будни, на цепи скачет!

— Да замолчи ты, постылый! — крикнет на него Анфиса Карповна: — знаешь ли, какой сегодня день!

— Ничего, пусть лает! — пошутит в ответ Никанор Семенович: — это он с ангелом поздравляет! Лай, Трезорушка, лай!

Только раз в нем проснулось что-то вроде честолюбия — это когда бодливой хозяйской корове Рохле, по требованию городского пастуха, колокол на шею привесили. Признаться сказать, позавидовал-таки он, когда она пошла по двору звонить.

— Вот тебе счастье какое; а за что? — сказал он Рохле с горечью: — только твоей и заслуги, что молока полведра в день из тебя надоят, а по-настоящему, какая же это заслуга! Молоко у тебя даровое, от тебя не зависящее: хорошо тебя кормят — ты много молока даешь; плохо кормят — и молоко перестанешь давать. Копыта об копыто ты не ударишь, чтоб хозяину заслужить, а вот тебя как награждают! А я вот сам от себя, *motu proprio*, <sup>2</sup> день и ночь маюсь, не доем, не досплю, и инда осип от беспокойства, — а мне хоть бы гремушку кинули! Вот, дескать, Трезорка, знай, что услугу твою видят!

— А цепь-то? — нашлась Рохля в ответ.

— Цепь?!

Тут только он понял. До тех пор он думал, что цепь есть цепь, а оказалось, что это нечто вроде как масонский знак. <sup>3</sup> Что он, стало быть, награжден уже изначала, награжден еще в то время, когда ничего не заслужил. И что отныне ему следует только об одном мечтать: чтоб старую, проржавленную цепь (он ее однажды уже порвал) сняли и купили бы новую, крепкую.

---

<sup>1</sup> Mea culpa! mea maxima culpa! (Латин.) — Мой грех! Мой тягчайший грех.

<sup>2</sup> Motu proprio (латин.) — по собственному побуждению.

<sup>3</sup> М а с о н ы — возникшее в XVIII веке тайное общество, ставившее своей целью нравственное совершенствование людей. Масоны узнавали друг друга по особым отличительным знакам.



А купец Воротилов точно подслушал его скромночестобивое вожделение: под самый Трезоркин праздник купил совсем новую, на диво выкованную цепь и сюрпризом приклепал ее к Трезоркину ошейнику. Лай, Трезорка, лай!

И залился он тем добродушным, залиvistым лаем, каким лают псы, не отделяющие своего собачьего благополучия от неприкосновенности амбара, к которому определила их хозяйская рука.

В общем Трезорке жилось отлично, хотя, конечно, от времени до времени, не обходилось и без огорчений. В мире псов, точно так же, как и в мире людей, лесть, пронырство и зависть нередко играют роль, вовсе им по праву не принадлежащую. Не раз приходилось и Трезорке испытывать уколы зависти; но он был силен сознанием исполненного долга и ничего не боялся. И это вовсе не было с его стороны самомнением. Напротив, он первый готов был бы уступить честь и место любому новоявленному барбосу, который доказал бы свое первенство в деле непреоборимости. Нередко он даже с тревогою подумывал о том, кто заступит его место в ту минуту, когда старость или смерть положит предел его нестомчивости. . . Но увy! во всей громадной стае измельчавших и излаявшихся псов, населявших Живодерку, он, по совести, не находил ни одного, на которого мог бы с уверенностью указать: вот мой преемник! Так что когда интрига задумала во что бы то ни стало уронить Трезорку в мнении купца Воротилова, то она достигла только одного — и притом совершенно для нее нежелательного — результата, а именно: выказала повальное оскудение псовых талантов.

Не раз завистливые барбосы, и в одиночку, и небольшими стайками, собирались во двор купца Воротилова, садились поодаль и вызывали Трезорку на состязание. Поднимался несосветимый собачий стон, который наводил ужас на всех домочадцев, но к которому хозяин дома прислушивался с любопытством, потому что понимал, что близко время, когда и Трезору понадобится подручный. В этом неистовом хоре выдавались голоса недурные; но такого, от которого внезапно заболел бы живот со страху, не было и в помине. Иной барбос выказывал недюжинные способности, но непременно или перелает, или недолает. Во время таких состязаний Трезорка обыкновенно умолкал, как бы давая противникам возможность высказаться, но под конец не выдерживал и к общему стону, каждая нота которого свидетельствовала об искусственном напряжении, присоединял свой собственный свободный и трезвенный лай. Этот лай сразу устранял все сомнения. Заслышав его, кухарка выбегала из стряпущей и ошпаривала коноводов интриги кипятком. А Трезорке приносила помоев.



Тем не менее, купец Воротилов был прав, утверждая, что ничто под луною не вечно. Однажды утром воротиловский приказчик, проходя мимо собачьей конуры в амбар, застал Трезорку спящим. Никогда этого с ним не бывало. Спал ли он когда-нибудь — вероятно, спал, — никто этого не знал, и во всяком случае никто его спящим не заставлял. Разумеется, приказчик не замедлил доложить об этом казусе хозяину.

Купец Воротилов сам вышел к Трезорке, взглянул на него и, видя, что он повинно шевелит хвостом, как бы говоря: и сам не понимаю, как со мной грех случился! — без гнева, полным участия голосом, сказал:

— Что, старик, на кухню собрался? Стара стала, слаба стала? Ну, ладно! ты и на кухне службу сослужить можешь.

На первый раз, однакож, решились ограничиться приисканием Трезорке подручного. Задача была нелегкая; тем не менее, после значительных хлопот, успели-таки отыскать у Калужских ворот некоего Арапку, репутация которого установилась уже довольно прочно.

Я не стану описывать, как Арапка первый признал авторитет Трезорки и беспрекословно ему подчинился, как оба они подружились, как Трезорку, с течением времени, окончательно перевели на кухню и как, несмотря на это, он бегал к Арапке и бескорыстно обучал его приемам подлинного купеческого пса... Скажу только одно: ни досуг, ни обилие сладких кусков, ни близость Кутьки не заставили Трезорку позабыть те вдохновенные минуты, которые он проводил, сидючи на цепи и дрожа от холода в длинные зимние ночи.

Время, однакож, шло, и Трезорка всё больше и больше старелся. На шее у него образовался зоб, который пригибал его голову к земле, так что он с трудом вставал на ноги; глаза почти не видели; уши висели неподвижно; шерсть свалялась и линяла клочьями; аппетит исчез, постоянно ощущаемый холод заставлял бедного пса жаться к печке.

— Воля ваша, Никанор Семеныч, а Трезорка начал паршиветь, — доложила однажды купцу Воротилову кухарка.

На этот раз, однако, купец Воротилов не сказал ни слова. Тем не менее, кухарка не унялась и через неделю опять доложила:

— Как бы дети около Трезорки не испортились... Опаршивел он вовсе.

Но и на этот раз Воротилов промолчал. Тогда кухарка, через два дня, вбежала уже совсем обозленная и объявила, что она ни минуты не останется, ежели Трезорку из кухни не уберут. И так как кухарка мастерски готовила поросенка с кашей, а Воротилов безумно это блюдо любил, то участь Трезоркина была решена.



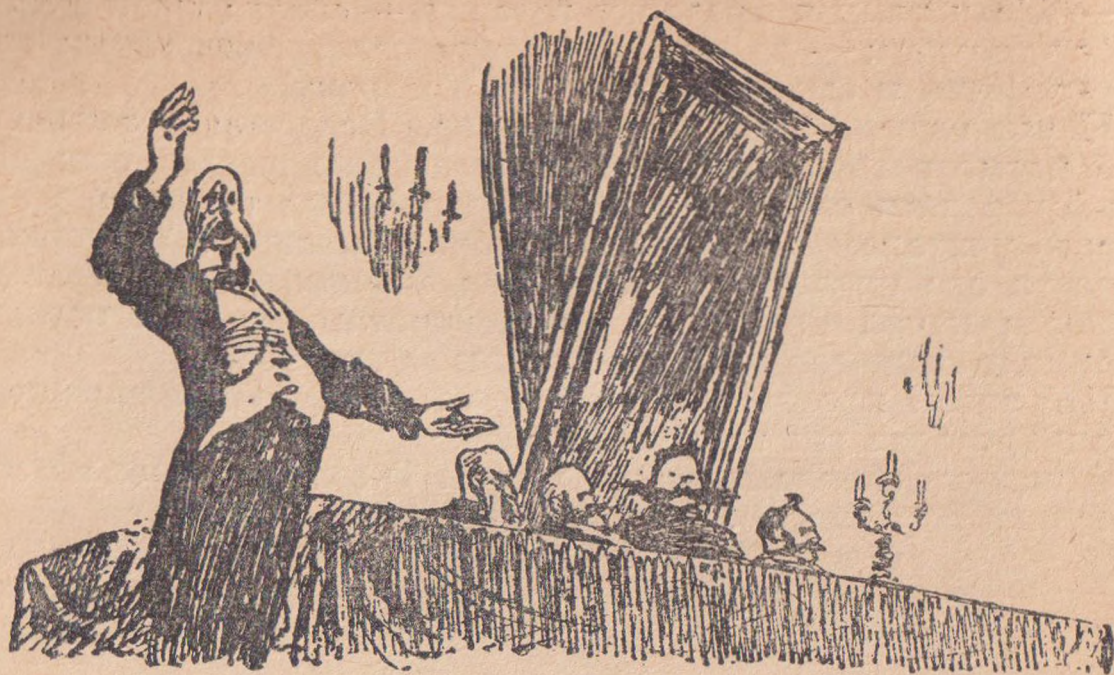
— Не к тому я Трезорку готовил, — сказал купец Воротилов с чувством: — да, видно, правду пословица говорит: собаке — собачья и смерть... Утопить Трезорку!

И вот вывели Трезорку на двор. Вся челядь высыпала, чтоб посмотреть на предсмертную агонию верного пса; даже хозяйские дети окно обсыпали. Арапка был тут же и, увидев старого учителя, приветливо замахал хвостом. Трезорка от старости еле передвигал ногами и, повидимому, не понимал; но когда начал приближаться к воротам, то силы оставили его и надо было его тащить вóлоком за загривок.

Что́ затем произошло — об этом история умалчивает, но назад Трезорка уж не возвратился.

А вскоре Арапка и совсем изгнал Трезоркин образ из сердца купца Воротилова.





## ЛИБЕРАЛ

В некоторой стране жил-был либерал, и притом такой откровенный, что никто слова не молвит, а он уж во всё горло гаркает: «ах, господа, господа! что вы делаете! ведь вы сами себя губите!» И никто на него за это не сердился, а напротив, все говорили: «пускай предупреждает — нам же лучше!»

— Три фактора, — говорил он, — должны лежать в основании всякой общественности: свобода, обеспеченность и самодеятельность. Ежели общество лишено свободы, то это значит, что оно живет без идеалов, без горения мысли, не имея ни основы для творчества, ни веры в предстоящие ему судьбы. Ежели общество сознает себя необеспеченным, то это налагает на него печать подавленности и делает равнодушным к собственной участи. Ежели общество лишено самодеятельности, то оно становится неспособным к устройству своих дел и даже мало-помалу утрачивает представление об отечестве.

Вот как мыслил либерал, и, надо правду сказать, мыслил правильно. Он видел, что кругом него люди, словно отравленные мухи, бродят, и говорил себе: «Это оттого, что они не признают себя строителями своих судеб. Это колодники, к которым и счастье, и злосчастье приходит без всякого с их стороны предвидения, которые не отдаются беззаветно своим ощущениям, потому что не могут определить, действительно ли



это ощущения или какая-нибудь фантасмагория».<sup>1</sup> Одним словом, либерал был твердо убежден, что лишь упомянутые три фактора могут дать обществу прочные устои и привести за собою все остальные блага, необходимые для развития обществу.

Но этого мало: либерал не только благородно мыслил, но и рвался благое дело делать. Заветнейшее его желание состояло в том, чтобы луч света, согревавший его мысль, прорезал окрестную тьму, осенил ее и всё живущее напоил благоволением. Всех людей он признавал братьями, всех одинаково призывал насладиться под сенью излюбленных им идеалов.

Хотя это стремление перевести идеалы из области эмпирии на практическую почву припахивало не совсем благонадежно, но либерал так искренно пламенел, и притом был так мил и ко всем ласков, что ему даже неблагонадежность охотно прощали. Умел он и истину с улыбкой высказать, и прощачком, где нужно, прикинуться, и бескорыстием щегольнуть. А главное, никогда и ничего он не требовал наступя на горло, а всегда только *по возможности*.

Конечно, выражение «по возможности» не представляло для его ретивости ничего особенно лестного, но либерал примирялся с ним, во-первых, ради общей пользы, которая у него всегда на первом плане стояла, и, во-вторых, ради ограждения своих идеалов от напрасной и преждевременной гибели. Сверх того, он знал, что идеалы, его одушевляющие, имеют слишком отвлеченный характер, чтобы воздействовать на жизнь непосредственным образом. Что такое свобода? обеспеченность? самодеятельность? Всё это отвлеченные термины, которые следует наполнить несомненно осязательным содержанием, чтобы в результате вышло общественное цветение. Термины эти, в своей общности, могут воспитывать общество, могут возвышать уровень его верований и надежд, но блага осязаемого, разливающего непосредственное ощущение довольства, принести не могут. Чтобы достичь этого блага, чтобы сделать идеал общедоступным, необходимо разменять его на мелочи и уже в этом виде применять к исцелению недугов, удручающих человечество. Вот тут-то, при размене на мелочи, и вырабатывается само собой это выражение: «по возможности», которое, из двух приходящих в соприкосновение сторон, одну заставляет *в известной степени* отказаться от замкнутости, а другую — *в значительной степени* сократить свои требования.

Всё это отлично понял наш либерал и, заручившись этими

---

<sup>1</sup> Фантасмагория — причудливое бредовое видение.



соображениями, препоясался на брань<sup>1</sup> с действительностью. И прежде всего, разумеется, обратился к сведущим людям.

— Свобода — ведь, кажется, тут ничего предосудительного нет? — спросил он их.

— Не только не предосудительно, но и весьма похвально, — ответили сведущие люди: — ведь это только клеветают на нас, будто бы мы не желаем свободы; в действительности мы только об ней и печалимся... Но разумеется, в пределах...

— Гм... «в пределах»... понимаю! А что вы скажете насчет обеспеченности?

— И это милости просим... Но, разумеется, тоже в пределах.

— А как вы находите мой идеал общественной самодетельности?

— Его только и недоставало. Но, разумеется, опять-таки в пределах.

Что ж! в пределах, так в пределах! Сам либерал хорошо понимал, что иначе нельзя. Пусти-ка савраса без узды — он в один момент того накуролесит, что годами потом не поправишь! А с уздою — святое дело! Идет саврас и оглядывается: а нутко я тебя, саврас, кнутом шарахну... вот так!

И начал либерал «в пределах» орудовать: там урвет, тут урежет; а в третьем месте и совсем спрячется. А сведущие люди глядят на него и не нарадуются. Одно время даже так работой его увлеклись, что можно было подумать, что и они либералами сделались.

— Действуй! — поощряли они его: — тут обойди, здесь стушуй, а там и вовсе не касайся. И будет всё хорошо. Мы бы, любезный друг, и с радостью готовы тебя, козла, в огород пустить, да сам видишь, каким тыном у нас огород обнесен!

— Вижу-то, вижу, — соглашался либерал: — но только как мне стыдно свои идеалы ломать! так стыдно! ах, как стыдно!

— Ну, и постыдись маленько: стыд глаза не выест! зато, *по возможности*, всё-таки затею свою выполнишь!

Однако, по мере того, как либеральная затея *по возможности* осуществлялась, сведущие люди догадывались, что даже и в этом виде идеалы либерала не розами пахнут. С одной стороны, чересчур широко задумано; с другой стороны — недостаточно созрело, к восприятию не готово.

— Невмоготу нам твои идеалы! — говорили либералу сведущие люди: — не готовы мы, не выдержим!

И так подробно и отчетливо все свои несостоятельности и

---

<sup>1</sup> Препоясался на брань (старинное) — приготовился к бою.



подлости высчитывали, что либерал, как ни горько ему было, должен был согласиться, что, действительно, в предприятии его существует какой-то фаталистический огрех: не лезет в штаны, да и баста.

— Ах, как это печально! — роптал он на судьбу.

— Чудак! — утешали его сведущие люди: — есть от чего плакать! Тебе что́ нужно? — будущее за твоими идеалами обеспечить? — так ведь мы тебе в этом не препятствуем. Только не торопись ты, ради христа! Ежели нельзя «по возможности», так удовлетворишься тем, что отвоюешь «хоть что-нибудь»? Ведь и «хоть что-нибудь» свою цену имеет. Помаленьку да полгоньку, не торопясь да богу помолясь — смотришь, ан одной погой ты уж и в капище! <sup>1</sup> В капище-то, с самой постройки его, никто не заглядывал; а ты взял да и заглянул... И за то бога благодари.

Делать нечего, пришлось и на этом помириться. Ежели нельзя «по возможности», так «хоть что-нибудь» старайся урвать и на том спасибо скажи. Так либерал и поступил, и вскоре так свыкся с своим новым положением, что сам дивился, как он был так глуп, полагая, что возможны какие-нибудь иные пределы. И уподобления всякие на подмогу к нему явились. И пшеничное, мол, зерно не сразу плод дает, а также поцеремонится. Сперва надо его в землю посадить, потом ожидать, покуда в нем произойдет процесс разложения, потом оно даст росток, который прозябнет, в трубку пойдет, восколосится и т. д. Вот через сколько волшебств должно перейти зерно, прежде нежели даст плод сторицею! Так же и тут, в погоне за идеалами. Посадил в землю «хоть что-нибудь» — сиди и жди.

И точно: посадил либерал в землю «хоть что-нибудь» — сидит и ждет. Только ждет-пождет, а не прозябает «хоть что-нибудь», и вся недолга. На камень оно, что ли, попало, или в навозе созрело — поди, разбирай!

— Что́ за причина такая? — бормотал либерал в великом смущении.

— Та самая причина и есть, что загребаешь ты чересчур широко, — отвечали сведущие люди. — А народ у нас, между тем, слабый, расподлеющий. Ты к нему с добром, а он поровит тебя же в ложке утопить. Большую надо сноровку иметь, чтобы с этим народом в чистоте себя сохранить!

— Помилуйте! что́ уж теперь об чистоте говорить! С каким я запасом-то в путь вышел, а окончил тем, что весь его по дороге растерял. Сперва «по возможности» действовал, го-

---

<sup>1</sup> Капище — языческий храм; здесь в переносном смысле: царство идеалов.



том на «хоть что-нибудь» съехал — неужто можно и еще дальше под гору идти?

— Разумеется, можно. Не хочешь ли, например, «применительно к подлости»?

— Как так?

— Очень просто. Ты говоришь, что принес нам идеалы, а мы говорим: прекрасно; только ежели ты хочешь, чтоб мы восчувствовали, то действуй применительно.

— Ну?

— Значит, идеалами-то не превозносись, а по нашему масштабу их сократи, да применительно и действуй. Потом, может быть, и мы, коли пользу увидим... Мы, брат, тоже травленные волки, прожектёров-то<sup>1</sup> видели! Намеднись генерал Крокодилов вот этак же к нам отъявился: господа, говорит, мой идеал — кутузка! пожалуйста! Мы сдуру-то поверили, а теперь и сидим у него под ключом.

Крепко задумался либерал, услышав эти слова. И без того от первоначальных его идеалов только одни ярлыки остались, а тут еще подлость прямую для них прописывают! Ведь этак, пожалуй, не успеешь оглянуться, как и сам в подлецах очутишься. Господи! вразуми!

А сведущие люди, видя его задумчивость, с своей стороны, стали его понуждать. — Коли ты, либерал, заварил кашу, так уж не мудри, вари до конца! Ты нас взбудоражил, ты же нас и ублаготвори... действуй!

И стал он действовать. И всё применительно к подлости. Попробует иногда, грешным делом, в сторону улизнуть; а сведущий человек сейчас его за рукав: куда, либерал, глаза скосил? гляди прямо!

Таким образом шли дни за днями, а за ними шло вперед и дело преуспейния «применительно к подлости». Идеалов и в помине уж не было — одна мразь осталась — а либерал всё-таки не унывал. «Что ж такое, что я свои идеалы по уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою! Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь — я и опять молодец-молодцом!» А сведущие люди слушали эти его похвальбы и поддакивали: именно так!

И вот шел он однажды по улице с своим приятелем, по обыкновению об идеалах калякал и свою мудрость на чем свет превозносил. Как вдруг он почувствовал, словно бы на щеку ему несколько брызгов пало. Откуда? с чего? Взглянул либерал наверх: не дождик ли, мол? Однако, видит, что в небе ни облака, и солнышко, как угорелое, на зените играет. Ветерок хоть и подувает, но так как помой из окон выливать

---

<sup>1</sup> П р о ж е к т ё р — составитель неосновательных проектов.

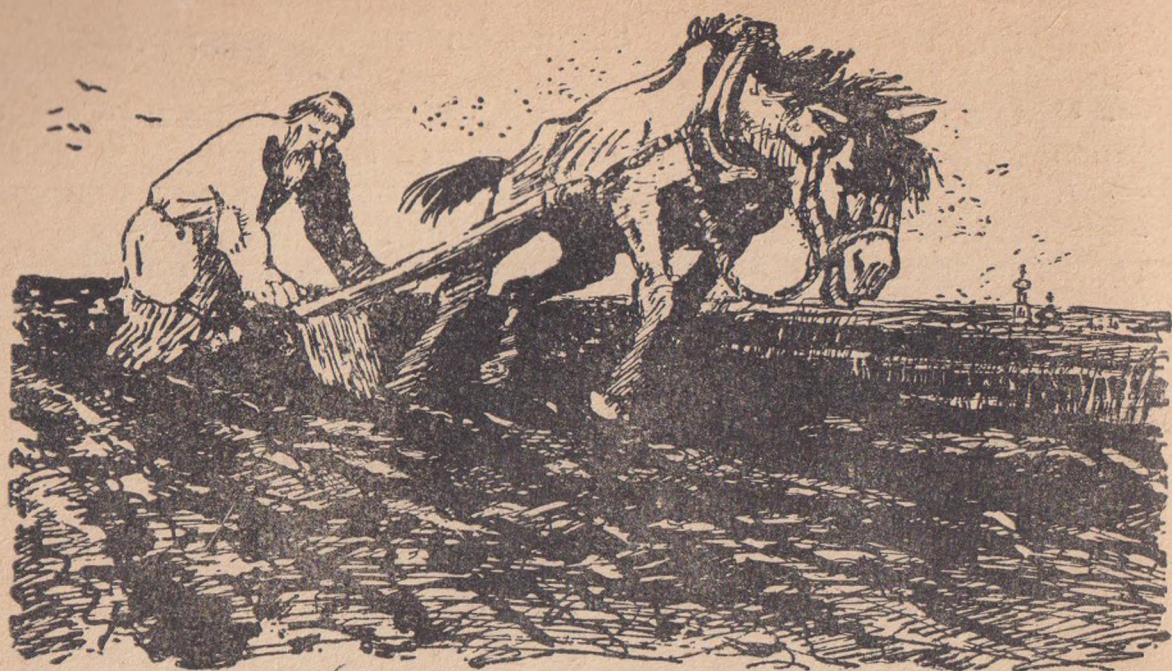


не указано, то и на эту операцию подозрение положить нельзя.

— Что за чудо! — говорит приятелю либерал: — дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят!

— А видишь, вон за углом некоторый человек притаился, — ответил приятель: — это его дело! Плюнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает. Вот он, «применительно к подлости», из-за угла и плюнул; а на тебя ветром брызги нанесло.





## КОНЯГА

Коняга лежит при дороге и тяжело дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но Коняге не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком: в великую силу они с мужичком ее одолели.

Коняга — обыкновенный мужичий живот,<sup>1</sup> замученный, побитый, узкогрудый, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову Коняга держит по-пуро; грива на шее у него свалялась; из глаз и ноздрей сочится слизь; верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-деньской Коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает; зимой, вплоть до ростепели, «произведения» возит.

А силы Коняге набраться неоткуда: такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, куда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживится, а зимой перевозит на базар «произведения» и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают; а в поле ни травинки нет; кой-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел.

---

<sup>1</sup> Ж и в о т — здесь в смысле: животное.



Худое Конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле: ну, милый, упирайся! — услышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними — забирает, морду к груди пригнет. Ну, каторжный, вывози! А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец — и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть — и Коняге, и мужику; каждый день смерть.

Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит: юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполнили; даже там, где земля с небом слилась, и там всё поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные — они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вот он, человек, вдали идет; может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он всё на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство само собой ее засосет.

Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей быются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало, — той силы, которая разрешила бы узы<sup>1</sup> мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи.

Лежит Коняга на самом солнечном припеке; кругом ни деревца, а воздух до того накалился, что дыханье в гортани захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над Конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он — только ушами автоматически вздрагивает от укулов. Дремлет ли Коняга, или помирает — нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что всё нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе бог бессловесной животине отказал.

---

<sup>1</sup> Разрешить узы (старинное) — снять оковы.



Дремлет Коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара.<sup>1</sup> Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным Конягой, и тянут его за собой всё дальше и дальше в бездонную глубь.

Нет конца полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и поперек, а всё-таки ему конца-краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном — оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собой вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас — опять народилось. Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель — Коняга. Для всех поле раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно — кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и всё-таки не признает себя сытым. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет, и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрик: ну, милый! ну, каторжный! ну!

Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на Конягу потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги мороз... Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение — отравой. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце напояет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию — бедный Коняга знает об нем только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь.

Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования: для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая исходит из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его — никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, спо-

---

<sup>1</sup> Х м а р а — густой туман.



собная выносить иго работы. Сколько веков он несет это иго — он не знает; сколько веков предстоит нести его впереди — не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа.

Самая жизнь Коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головоног,<sup>1</sup> присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своей кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде всё он, всё один и тот же, безымянный Коняга. Целая масса живет в нем, не умирающая, не расчленимая и не истребимая. Нет конца жизни — только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? зачем она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она пришла и куда идет? — вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее... Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых.

Дремлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто, с первого взгляда, не скажет, что Коняга и Пустопляс — одного отца дети. Однако предание об этом родстве еще не совсем заглохло.

Жил, во времена оны, старый конь, и было у него два сына: Коняга и Пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а Коняга — неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик Конягину неотесанность, долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чадолюбивому отцу, но, наконец, рассердился и сказал: «Вот вам на веки вечные моя воля: Коняге — солома, а Пустоплясу — овес». Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой<sup>2</sup> напоили и пшена ему в ясли засыпали; а Конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы: хлопай зубами, Коняга! А пить — вон из той лужи.

Совсем было позабыл Пустопляс, что у него братец на свете живет, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. «Надоело, говорит, мне стойло теплое, прискучила сыта медовая, не лезет в горло пшено ярое; пойду, проведу, каково-то мой братец живет!»

<sup>1</sup> Головоног — маленькое беспозвоночное животное с 8—10 щупальцами вокруг рта, которыми оно схватывает свою жертву.

<sup>2</sup> Медовая сыта — мед, сваренный на воде.



Смотрит — ан братец-то у него бессмертный! Бьют его чем ни попада, а он живет; кормят его соломою, а он живет! И в какую сторону поля ни взгляни, везде всё братец орудует; сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом — он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама от него сокрушается, а его сокрушить не может!

И вот начали пустоплясы кругом Коняги похаживать.

Один скажет:

— Это оттого его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе смирнехонько, весь опутанный пословицами, словно у христа за пазушкой. Будь здоров, Коняга! Делай свое дело, бди!

Другой возразит:

— Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь! Что такое здравый смысл? Здравый смысл — это нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в Коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит! <sup>1</sup> И куда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит!

Третий молвит:

— Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь духа, дух жизни — что это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому, что он «настоящий труд» для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своею личною совестью, и с совестью масс, и наделяет его тою устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! Трудись, Коняга! упирайся! загребай! и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда.

А четвертый (должно быть, прямо с конюшни от кабатчика) присовокупляет:

— Ах, господа, господа! всё-то вы пальцем в небо попадаете! Совсем не оттого нельзя Конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а оттого, что он спокон-веку к своей юдоли <sup>2</sup> привышен. Теперича хоть целое дерево об него обло-

---

<sup>1</sup> Жизнь духа и дух жизни. — Щедрин насмешливо употребляет выражение из стихотворения видного славянофила А. С. Хомякова «Киев»:

«К жизни духа, к духу жизни  
Возрожденные тобой!»

<sup>2</sup> Юдоля — участь (обычно печальная).



май, а он всё жив. Вон он лежит — кажется, и духу-то в нем нисколько не осталось, — а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их, калек этаких, по полю разбрелось — и все как один. Калечьте их теперича сколько угодно — их вот ни на эстолько не убавится. Сейчас — его нет, а сейчас — он опять из-под земли выскочил.

И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами:

— Н-но, каторжный, шевелись!

Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется.

— Смотрите-ка, смотрите-ка! — закричат они вкупе и влюбё: <sup>1</sup> — Смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает! Вот уж именно дело мастера боится! Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! Вот кому надо подражать! Н-но, каторжный. н-но!

---

<sup>1</sup> Вкупе и влюбё (старинное) — вместе и дружно.



## СОДЕРЖАНИЕ

Сказки Щедрина. Вступительная статья Б. Бухштаба . . .	3
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил . . .	11
Дикий помещик . . . . .	20
Премудрый пискарь . . . . .	29
Самоотверженный заяц . . . . .	34
Карась-идеалист . . . . .	41
Верный Трезор . . . . .	53
Либерал . . . . .	60
Коняга . . . . .	66

Салтыков-Щедрин М. Е.

«СКАЗКИ»

Ответственный редактор *Р. И. Филиппова*. Художник-редактор *Ю. Н. Киселев*.  
Технический редактор *Л. Б. Леонтьева*. Корректоры *Л. Л. Трусова* и  
*М. М. Юдина*.

Подписано к набору 5/I 1957 г. Подписано к печати 27/III 1957 г. Формат 60×92<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.  
Печ. л. 4,5. Усл. п. л. 4,5. Уч.-изд. л. 3,8. Тираж 800 000 (400 001—800 000) экз.  
Ленинградское отделение Детгиза. Ленинград, наб. Кутузова, 6. Заказ № 2314.  
Цена 1 р. 15 к.

Матрицы изготовлены на 2-й фабрике детской книги Министерства просвещения  
РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7.  
Отпечатано на Фабрике детской книги Детгиза. Москва, Сушеvский вал, 49.







Цена 1 р. 15 к.

с 1/1—1961 г.

Цена — руб. 12 коп.